

На соискание Государственной премии СССР

«А душу можно ль рассказать?»

О книге Виктора Астафьева «Царь-рыба»

«...Моя профессия состоит в том, чтобы все знать и видеть», — растолковывает в «Царь-рыбе» рассказчик свою чрезмерную, по понятиям спутника, любознательность к таинственному от «стороннего» глаза... Но, право, перед нами здесь еще и нечто большее, чем сам по себе литературский профессионализм, пусть и очень высокой пробы. Писательство вошло здесь в натуру человека, или, может быть, вернее бы сказать наоборот: вышло из его натуры, сделалось личным, задушевным делом, а оттого, являясь нам, чем, дальше, тем более по-своему, отличается неделанной самоотличием, неизживаемым природным своеобразием, как цвет глаз, тембр голоса, линии на ладони. У такого художника талант — это и есть его судьба, и другой, полагать, а может, и похлебнее, ему не надо, да он никогда и не станет ее искалечивать. Вот почему к такому произведению таланта, как «Царь-рыба», с полным, по моему, основанием применимо высшее толстовское определение: «роженное», «не сочиненное» лучше или хуже.

На одном из обсуждений своей книги Виктор Астафьев объяснял, что еще задолго до начала безотрывной трехлетней работы над новой книгой он каждый год ездил в Сибирь «не в командировки, а домой, повидаться с родными и знакомыми, посмотреть, как течет жизнь в любимых местах... Увиденное, пережитое оседало в душе, откладывалось, отстаивалось, и

трудно сказать, сколько продолжалось все это до того момента, когда я сел за письменный стол. Вот так, в какой-то мере стихийно, рождалась форма книги».

Астафьевское «повествование в рассказах» с очевидностью сложилось не как-либо «вместо» романа, повести или, скажем, цикла очерков, но именно в том состоянии ума и сердца, в каком каждый пишущий о действительно ему дорогом и кровно близком может от себя повторить замеченное как-то великим Толстым: «Что-то напрашивается, не знаю, удастся ли. Напрашивается то, чтобы писать вне всякой формы: не как статьи, рассуждения и не как художественное, а высказывать, выливать, как можешь, то, что сильно чувствуешь».

Все это, разумеется, вовсе не значит, будто произведение, выражающее собой то, что автор по-настоящему «мучительно сильно чувствует», рождается без мук, само собой. Читательское впечатление его внутренней свободы, как бы и впрямь отсутствия у него «всякой формы» достигается между тем ценой немалого, порой очень сложного исполнительского труда, хотя, к счастью, труда одухотворенного, поистине творческого и оттого проникнутого наслаждением самоотдачи.

Не упустим тут из виду, что истинная высота веры и убеждений художника более всего сказывается в той его внутренней мере, с какой он подходит к людям не потому лишь, что считает данный подход справедливейшим или наиболее удобным, но в силу того взгляда на вещи, того видения мира, какие ему органически присущи, и тех представлений о должном, которые составляют суть его гражданской позиции. Когда, рассказывая об оказавшихся отрезанными от большого мира зимовщиках, Астафьев поясняет: «Нарушилась душевная связь людей, их не объединяло главное в жизни — работа. Они надоели друг другу, и недовольство, злость копилась помимо их воли», — понимаешь, что представление о связях «внешних» и «внутренних» и о труде как центральном их узле могло сказаться так вот попутно лишь у человека, для которого прописная истина: «работа — главное в жизни» есть именно высшая истина, символ веры, как для миллионов, доверивших ему свой язык и право о себе повествовать.

В астафьевском повествовании, вобравшем в свою «стихию» и житейские истории, и собственные авторские

встречи, и размышления последних лет, началом, объединяющим свое и общее, сливающим воедино авторский лиризм и его глубокую сочувственность, стала тема «человек и природа», о чем, понятно, и говорят, и пишут в связи с «Царь-рыбой» более всего. Однако же привычное восприятие того, как и зачем раскрывается у Астафьева эта тема, было бы недостаточным без проникновения к тому, по слову Блока, «сокрытому двигателю» художника, впечатление о котором и впрямь несводимо тут к какому бы то ни было «угрюмству», хотя пересказывать по совести и чести иные его наблюдения воистину горько и больно. Совсем не утешать нас, но и вовсе не «пужать» являлся писатель, если вдуматься хотя бы уже в самое название, какое дал его книге один из десяти составивших ее «рассказов», к содержанию которого, однако же, все тут тоже не свести.

Оказавшись заглавным, образ «царь-рыбы» (доставлявшей по-староказачьему уральскому обычаю «царский кус» и ставшей было главным украшением народного пиршественного стола) приобрел у Астафьева весьма серьезную социально-философскую роль, скрепляя собой его «со-

брани пестрых глав» емким и многосложным народно-поэтическим и вместе острополюемическим смыслом. Конечно же, не просто, как говорится, в защиту природы или во славу ее и не только в прямой укор обеспамятовавшему «царю творенья» создавалась эта книга. Недаром Астафьев, столь дороживший здесь публицистичностью, признается, однако, что между тем, как ни странно, «никаких путевых заметок, очерков» по впечатлениям от своих поездок в Сибирь ему писать «никогда не хотелось!» Что-то еще более значительное, чем одно лишь состояние лесных да речных уголков должно было подвигнуть к этой большой работе писателя, у которого при виде бессмысленно загубленного леса на родной реке Мане вырвется из груди: «Прощай, Мана! И прости нас! Мы истязали не только природу, но и себя, и не всегда без нужды...» — а при взгляде на озверевшего в охотничьем азарте человека скажется: «Утратилось в нем чувство благородства, исчез дух дружбы и справедливости к природе, ожирело в нем все от уверенности в умственном превосходстве над нею»...

Кому и как царствовать на земле и воде в «царстве при-

роды» — об этом ли тут речь? Царь да нищий без товарищей — это давно известно, и в том-то, верно, судьба и радость матери-природы и сына ее — человека, чтобы жить **заодно**. Иначе и в «Хозине тайги», медведе, открывается неожиданно «что-то шакалье, пакостливое» — «фашизм!»; иначе и «царь-рыба» оборачивается рыбой «отвратной» — только диву можно даваться, как это вдруг «из-за нее, из-за этакой гады, забылся в человеке человек!»

«Царь-рыба» Астафьева проникнута прежде всего мыслью о человеке. Конечно, «тайга на земле и звезды на небе были тысячи лет до нас», и обманно представление, будто мы «управляем природой и что пожелаем, то и сделаем с нею»... Но ведь и то правда, что «тайга, особенно, северная, без человека — совсем сирота!» Эти два полюса людских самоощущений перед лицом природы создают здесь такое мощное силовое поле, в котором любая, даже и самая злая правда о людях-зверях или о звере-людоеде несет в себе добро и свет, проникается реальным идеалом товарищества, трудового братства, мира — «вечного праздника жизни!»

Суровый, горчайший опыт войны, памятью к которой то

так, то эдак возвращается автор на протяжении всей книги, еще острее делает его раздумье о том, «что происходит в миру», в судьбах людей...

Печальным аккордом завершает свое повествование Виктор Астафьев. Но не итожит его. Напротив, пожалуй, зовет вновь и вновь вслушаться в передаваемые им тишину и разнотолосье живого мира, в его мелодии и шумы, всмотреться в густоту его красок и теней, в пестроту родных и чуждых лиц и судеб, вживе предстоящих перед нами с этих трепетных, точно на наших глазах составляющихся и еще не уложившихся, еще будто не просохших страниц... И чем серьезнее вдумываешься в самую суть того сопереживания, в какое не может не втянуть эта доверчиво, смело, открыто отдаваемая тебе живая и богатая душа, тем более проникаешься высоким, подлинно человеческим светом ее радостей и печалей, так непроизвольно сказавшимся в заключение.

Да, всему свое время. И пришло наконец **время человечности**, время человеку стать человеком. Нет в его распоряжении для этого никакой иной силы, чем он сам вместе с людьми. Нет и на него иной силы. И нет ему ответа ни от кого другого, потому что **отвечает** на все свои вопросы и за все свои деяния один только он.

Другого времени уже не будет.

Д. СТАРИКОВ.